

ДВАЖДЫ НИКИ



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

ЕВТУШЕНКО

18+

Евтушенко
Дважды Ники

«Автор»

2026

Евтушенко

Дважды Ники / Евтушенко — «Автор», 2026

Тело никогда не врёт — этому меня научили годы в зале и на ринге. Но однажды оно соврало окончательно: я умер, заслонив собой чужого человека в подворотне. Второй шанс мне выдали не по правилам ни одной книги, которую я читал. Здесь магия — не набор заклинаний из игры, а выбор на всю жизнь: один маг — одна специализация, и точка. Я выбрал то, что умел лучше всего, — бить. Только теперь удар можно усилить силой, которой в моей прошлой жизни просто не существовало. Здесь дерутся не за победу, а за то, чтобы дожить до завтра. Здесь никто не спасает мир бесплатно — я, по крайней мере, точно не горю желанием. У меня другая цель: разобраться, что вообще произошло, и, может быть, не наделать тех же ошибок, что в прошлой жизни. Тёмное фэнтези про попаданца, который дерётся кулаками и заклинаниями одновременно — без роялей в кустах и без избранности, доставшейся по умолчанию.

© Евтушенко, 2026

© Автор, 2026

Евтушенко Дважды Ники

Глава 1

В каком бы мире вы ни нашли мои записи — знайте, что они дадут вам ответы на всё, что происходит в вашей жизни.

с. Ники

I

Тело не врёт. Это единственное, во что я верил по-настоящему.

Удаче я не верил, судьбе — тем более, и уж точно не верил в сказку про то, что всё само образуется, если просто подождать. Тело — другое дело. Оно честное до отвращения: пропустишь месяц зала — оно тебе скажет об этом без сглаживания углов, без «может, обойдётся». Плечи сдадут первыми, потом уйдёт рельеф, потом начнёт сыпаться то ощущение собственной плотности, к которому привыкаешь настолько, что перестаёшь замечать, — и заметишь только тогда, когда его не станет. Я знал это на своей шкуре — не из статей. Отпуск, больница, что угодно, где тебя выключает из графика хотя бы на пару месяцев, — и ты уже не тот человек, которым привык себя ощущать. Ты не «немного слабее». Ты — другой, худший вариант себя, который зачем-то всё ещё ходит в твоей коже и удивляется, почему рукав куртки вдруг стал сидеть иначе. Спортзал в этом смысле честнее любого зеркала — зеркало хотя бы иногда врёт из вежливости.

При этом я не путал это с нарциссизмом. Меня откровенно смешили те, кто путал. В залах хватало клоунов, которые полгода набивали объём, а потом только и делали, что снимали футболку по любому поводу — на вечеринке, в раздевалке, на парковке у зала, — лишь бы поймать своё отражение хоть в тонированном стекле чужой машины, хоть в витрине магазина через дорогу. Я не помню ни одного нормального бойца, который бы так делал. Штанга сама по себе драться не научит — это вообще другой вопрос, к рингу прямого отношения не имеющий. Силовая нужна была — я и сам половину недели проводил в тренажёрке помимо бокса, только не ради объёма: чтобы удар не терял в весе и чтобы связки держали жёсткий спарринг — без этого первое же приличное попадание рвало бы их в клочья. Разница простая: одно дело — тренировать тело, чтобы оно работало; совсем другое — чтобы оно красиво стояло в зеркале. Я занимался первым. Чистый бодибилдинг ради зеркала — бессмысленная штука. Такие «качки» падают от одного нормального удара и выдыхаются на второй минуте — и при этом держатся с апломбом людей, которым есть чем гордиться, хотя ни один из них не провёл на ринге ни одной настоящей минуты. Сразу видно — как клеймо на лбу, только бесплатное.

При этом я не примыкал и к другому лагерю — к тем, кого сам про себя называл скуфами: мужикам, которые сами когда-то бросили спорт в институте или ещё раньше, а теперь на диване годами обсуждают тех качков, отпуская в их сторону шутки про нетрадиционную ориентацию, просто потому что это проще, чем вернуться в зал самим. Я не принадлежал ни к одной из этих веток — двигался как-то сам по себе, по своей колее, и колея эта не оставляла много пространства для попутчиков. Оно и к лучшему: меньше народу, требующего объяснений.

Кое-что бесило меня в своё время гораздо сильнее всего этого спора про качков и скуфов, до самого настоящего зубовного скрежета: в книгах, в фильмах, в играх герой даже если и тренировался раньше, то потом годами где-то шатается, живёт на подножном корму, не придрагивается ни к штанге, ни к груше, ещё и курит, бывает пьёт, — а потом выходит и рвёт десяток противников голыми руками: тело тут как костюм, который просто надевают обратно, свежий и выглаженный, сколько бы он ни провалялся в шкафу. Ложь. Красивая, удобная, но ложь. Сценаристам, видимо, было попросту в лом платить каскадёру за реалистичную одышку. Я годами проверял это на себе каждый день, и ни разу оно не сработало иначе, чем должно было: ты не в той форме, что была. Всегда. Без исключений, сколько бы фильмов ни утверждало обратное.

II

Работал я в охране — на объекте, бизнес-центре из тех стеклянных, где по вечерам светится едва ли треть окон, а остальные стоят тёмные, как выбитые зубы. Взяли меня туда во многом из-за формы: начальник смены оценивающе обвёл меня взглядом на собеседовании, спросил, спортом занимаюсь ли, и, услышав про бокс, кивнул с видом человека, который только что закрыл вакансию раньше, чем рассчитывал. Работа была из тех, что не требуют ума, но забирают время подчистую — двенадцать часов сидеть у мониторов, обходить этажи по расписанию, расписываться в журнале. По ночам здание говорило само с собой — тихим гулом вентиляции, случайным скрипом лифта, который никто не вызывал, — и с этим бормотанием я свыкся быстрее, чем с большинством людей. Многие в такой смене медленно превращаются в мебель. Я читал. Мебель, по крайней мере, не обязана делать вид, что ей интересно.

— Опять грызёшь свою книжку, — сказал Стас, напарник по смене, крупный, добродушный, с вечной пачкой чипсов на столе. — Эй, Ники! Ты бы хоть сериал какой включил, у нас тут монитор простаивает, никто не проверяет.

— Мне и так норм, — не отрываясь, ответил я.

— Ты вообще отдыхать умеешь? — он покачал головой, хрустнул чипсиной. — Смена, зал, опять смена. Когда жить-то?

Я не ответил сразу. Не потому что не было ответа — просто озвучивать его в третий раз за месяц было откровенно лень, а сочинять для Стаса свежую версию не хотелось. На этих сменах, между обходами этажей, я и завёл небольшую доставку спортивного питания — ничего громкого, просто пара поставщиков, простенький сайт и телефон, который я проверял каждые полчаса. Вскоре она перестала быть карманными деньгами и неожиданно быстро превратилась в настоящие — этому, признаться, я удивился больше всех.

III

Ничего из того, что случилось потом, не возникло на пустом месте — такие вещи годами готовит всё, что было раньше, даже то, о чём сам давно не вспоминаешь напрямую.

Рос я в семье, где сила и слабость были не отвлечённым понятием из книжек. Это был бытовой факт — тот, с которым сталкиваешься за завтраком в тесной кухне, пропахшей то жареной картошкой, то отцовской машинной смазкой: он не всегда успевал отмыть руки до конца. Отец работал на заводе, руки у него были такие, что здороваться с ним было немного больно, — ладонь как из выдубленной кожи, костяшки крупные, как нарочно расклёпанные молотком, — но дома он говорил тихо, редко повышал голос, ходил медленно и грузно, и со стороны его легко было принять за мягкого, немного забитого человека. Один раз, мне было лет двенадцать, мы возвращались с рынка — тащили пакеты через ряды, мимо палаток с квашеной капустой и мокрым от утреннего дождя асфальтом, под нескончаемый гомон чужих голосов и звон мелочи в жестяных банках, — и у крайних ларьков трое взрослых мужиков окружили старика: божьего одуванчика в застиранной кепке, который, видимо, задолжал кому-то по мелочи и не смог расплатиться сразу. Кричали на него, толкали, один уже занёс руку — я запомнил ту руку, крупную, красную от холода, зависшую в воздухе на долю секунды дольше, чем нужно для замаха. Отец поставил сумки на асфальт — молча, без единого слова, — и пошёл прямо на них тем же неторопливым, тяжёлым шагом, которым обычно шёл к автобусной остановке. Он не ударил никого. Он просто встал между стариком и тем, кто заносил руку, и сказал что-то настолько тихо, что я, стоявший в трёх шагах, не расслышал ни слова, — но все трое как-то очень быстро вспомнили, что у них есть дела в другом месте. По дороге домой отец поднял сумки и больше не сказал об этом ни слова. Я запомнил это на всю жизнь. Правда, не сам эпизод — то, каким спокойным отец оставался всё это время, будто просто передвинул мебель, которая стояла не на своём месте.

Мать была полной его противоположностью на вид — маленькая, быстрая, с руками, вечно перепачканными в муке или земле с грядки, — и очень похожей по сути. Она разговаривала с соседями, с продавщицами, со случайными людьми в очереди так, как говорят с почти родными, — легко, тепло, без разбора, у неё в запасе бесконечный, непонятно откуда пополняемый ресурс доброты. Я всегда подозревал, что на самом деле безусловно она любила только нас, а остальное тепло было скорее привычкой быть доброй, чем настоящей любовью, — но раздавала она его так щедро, что разницы никто не замечал. Братьев у меня двое — Дима, старше меня на три года, и Егор, младше на два. Оба выросли обычными, спокойными парнями — без того зуда, что жил во мне с детства и требовал постоянного подтверждения делом. Дима после школы пошёл в колледж, женился рано, работает мастером на монтаже окон. Егор до сих пор в поиске себя, меняет работы каждые полгода, и это его, кажется, вообще не тревожит. Оба смотрели на мою одержимость залом с одинаковой смесью уважения и лёгкого недоумения, как смотрят на родственника с необычным, но безобидным хобби — вроде разведения кактусов, только более потным, — тем более что я никогда не рвался ни в профессионалы, ни на соревнования, не хотел тратить здоровье и годы на чужие ринги и чужие правила. Я всегда знал, что бой в жизни — это совсем не то же самое, что раунд по регламенту. Готовился я как раз к первому — вторым можно было и не заморачиваться. Я был самым способным в семье — школу закончил играючи, на одни пятёрки, рано встал на ноги и по меркам семьи неплохо зарабатывал уже к двадцати трём, — и с детства носил в себе стойкое ощущение, что я самый странный, — что меня и правда подменили в роддоме на кого-то из другого теста, а родители до сих пор об этом не в курсе.

* * *

Школу я вспоминаю без особой ностальгии, но и без неприязни — просто как полосу, которую нужно было пройти, и я проходил её так же, как проходил всё остальное: с некоторым избытком силы, которую девать было особо некуда. Я быстро понял: играет роль вовсе не форма кулаков — рост, скорость, уверенность в движениях на площадке, вот что работает как валюта, которую принимают в любом школьном коридоре. Я гонял в футбол на переменах и после уроков, на разбитой коробке за школой, где ворота были нарисованы мелом на кирпичной стене гаража, а поле — пыльный, вытоптанный до земли пустырь с двумя рядами облезлых гаражей по бокам, который громким словом «поле» называли разве что из вежливости. Капитаном меня ставили почти всегда, хотя бил по мячу я не лучше всех, чего уж там. Дело было в другом — я умел парой спокойных слов, без крика, разводить два лагеря, готовых сцепиться из-за спорного гола; той же интонацией, которую потом узнал в самом себе годами позже, во дворе с гаражами совсем другого рода. Класс вокруг меня как-то сам собой сбивался в единое целое, когда я был рядом. Объединять я специально не старался — я просто не терпел мелкой грызни и умел показать это без единого удара, одним взглядом или парой фраз.

Внимание девушек — и из моего класса, и из параллельного — появилось само собой примерно классе в девятом, вместе с тем, как я начал вытягиваться и раздаваться в плечах после первого года лёгкой атлетики, — и я, если честно, довольно быстро научился им пользоваться, ещё не до конца понимая правила игры, в которую играю. Правила я, впрочем, доучивал по ходу дела — жизнь в этом смысле щедрее любого учебника на пересдачу.

Дело было не в каких-то экстраординарных событиях того вечера — дело было в одной детали, которая тогда во мне тихо, но окончательно щёлкнула, и поэтому ту вписку я запомнил во всех подробностях. Родители одноклассницы уехали на дачу на выходные, квартира — типовая трёшка на девятом этаже — быстро наполнилась людьми, музыкой из колонки, поставленной на подоконник, запахом дешёвого пива и чужих духов. Свет в комнатах приглушили, кто-то зажёл свечи прямо в стеклянных банках, и по стенам плясали неровные тени, слишком театральные для обычной квартиры в спальном районе. В коридоре кто-то уже разлил пиво на ламинат, и от этого весь вечер немного пах кислым и сладким одновременно; на кухне, где я в итоге и осел, окно было приоткрыто в ноябрьскую темноту.

— Ты чего тут сидишь, философ? — спросил кто-то из ребят, проходя мимо с двумя банками в руках. — Там танцуют вообще-то.

— Отсюда лучше видно, — ответил я, не сильно кривя душой.

Я сидел на кухонном подоконнике, потому что там было тише, и наблюдал — не участвовал, только наблюдал: привычка, которую тоже пронёс через всю жизнь. И увидел, как один из моих тогдашних приятелей — не близкий друг, но из тех, кого я считал более-менее надёжным, — при первой же возможности при всех высмеял другого парня из нашей же компании, того, кто в тот вечер был не в форме, разбит после какой-то домашней истории, — высмеял ради одобрительного смеха трёх девушек в углу, легко, без малейшего колебания. Тот, кого высмеяли, попытался отшутиться, не смог, вышел на балкон один, и через мутное стекло было видно, как он там просто стоит, обхватив себя руками от холода, глядя на стоянку внизу. Никто, кроме меня, этого даже не заметил. И вот тогда, глядя на всё это со своего подоконника, я понял вещь, которая потом определила очень многое: людям верность стоит ровно столько, сколько стоит текущая социальная выгода, и переоценивают её они мгновенно, без малейших угрызений, стоит только сцене немного измениться. Я не осуждал того приятеля — я, наверное, впервые тогда осознал, что и сам, окажись на его месте с той же ставкой, вряд ли бы поступил иначе. Просто с той вписки я перестал считать людей данностью, которой можно доверять по умолчанию. С тех пор это была переменная — и её приходилось каждый раз проверять заново, прежде чем доверить ей вес.

Полину я узнал раньше — мы учились в одном классе с седьмого, — но по-настоящему заметил в тот же вечер: она сидела на диване в дальней комнате, спокойная в шуме, который

явно её не касался, светлая чёлка падала на глаза, и она то и дело сдвигала её движением губ, не поднимая руки. На ней была тонкая вязаная кофта не по погоде, слишком лёгкая для ноября, рукава она постоянно натягивала на кулаки, и от этого движения — мелкого, почти незаметного — она казалась младше своих шестнадцати. Худая, узкоплечая, с той ещё не до конца оформившейся, подростковой лёгкостью в фигуре, которая через год-два должна была превратиться в нечто более определённое, — и я, помню, тогда впервые поймал себя на мысли, что смотрю на неё дольше, чем требуется, чтобы просто узнать одноклассницу. Начали встречаться мы через пару недель после этого, и первые месяцы были ровно тем, чем должны быть первые месяцы в шестнадцать лет, — лёгкими, немного глупыми, полными долгих переписок ночью и того особенного ощущения, что весь остальной мир вокруг слегка приглушён, а резкость наведена только на одного человека.

Тянулось это почти два школьных года — с середины десятого до самого выпуска. Первый секс у нас случился весной одиннадцатого класса, обоим было уже восемнадцать, — на съёмной даче её тётки, куда мы вырвались якобы готовиться к экзаменам, а на деле просто хотели побыть без чужих глаз хотя бы сутки. Я ждал от этого чего-то большего, чем получил. Разочарования тут, впрочем, не было — скорее ощущение несоответствия: столько лет вокруг этого выстраивают целую мифологию — в фильмах, в разговорах старших парней, в собственном воображении, — а по факту это оказалось на удивление обыкновенным, тёплым, немного неловким и уж точно не тем переломным моментом, после которого мир должен был перевернуться. Я помню, что лежал потом, глядя в дощатый потолок дачного домика, и думал вовсе не о ней и не о себе — думал об этом несоответствии: вот, значит, и всё, из-за чего столько шума. Это было честное, почти отрезвляющее открытие — первое из многих, которые убеждали меня, что реальность почти всегда скромнее любых её пересказов.

К последним месяцам школы то, что раньше казалось мне лёгкостью Полины, я всё чаще начал читать как пустоту. Разговоры вращались вокруг одного и того же узкого круга тем, любое несогласие с её мнением воспринималось как личное оскорбление, а на прямые разговоры о свадьбе и детях, которые она заводила всё чаще, у меня был один и тот же честный, но плохо принимаемый ответ: я вообще не понимал, как справиться с собственной жизнью, не то что с чужой, — я в свои семнадцать не представлял, как вывести своё собственное существование хоть на какой-то приличный уровень, и мысль о том, чтобы уже сейчас нести ответственность ещё и за детей, казалась мне не романтикой, а преждевременным приговором. Я не был к ней жесток намеренно — я просто медленно, месяц за месяцем, переставал видеть в ней того человека, в которого влюблялся, и она, кажется, это чувствовала раньше, чем я успевал это сформулировать словами.

Разрыв случился не тихо. На выпускном, уже изрядно вымотанные затянувшимся вечером и обоюдным раздражением, копившимся неделями, мы сцепились в коридоре школы, вдалеке от музыки и остальных, — и в какой-то момент она бросила мне в лицо, зло и уязвлённо, что я всегда смотрел на неё свысока, что для меня она никогда не была равной. Дальше случилось то, о чём я потом долго не мог с собой договориться. Я знал — знал совершенно точно, — куда именно нужно ударить словами, чтобы это причинило максимум боли. Не в лицо и не в характер: в ту единственную трещину, о которой она сама мне однажды, доверяя, рассказала — про то, как боится повторить судьбу собственной матери, которую бросили сразу после школы с ребёнком на руках. Я произнёс это спокойно, ровно, глядя ей прямо в глаза, зная заранее, какой эффект это произведёт, — и эффект произошёл такой, какой я рассчитывал: она замолчала, побелела, а потом просто ушла, не сказав больше ни слова. Я не кричал. Я не оскорблял её напрямую. Я просто взял то, что она сама доверчиво отдала мне в руки, и использовал это как скальпель, аккуратно и точно, — и в ту секунду, когда она уходила по коридору, я не чувствовал вины. Я чувствовал что-то куда более неприятное — холодное, почти техническое удовлетворение от точности удара, как после хорошо поставленного апперкота. Вина пришла

позже, ночью, когда я лежал один и пытался понять, откуда во мне вообще берётся способность делать что-то подобное настолько хладнокровно. Ответа я тогда не нашёл. Не нашёл его и годами позже.

* * *

Институт я выбрал почти случайно — прошёл баллом в экономический, о призвании речи не было вообще: просто следующая по списку специальность, до которой дотянулись баллы ЕГЭ. Окончил школу с одной четвёркой на весь аттестат и первую сессию закрыл так же легко, почти не напрягаясь, чем сразу выделился среди однокурсников, для которых зачёты превращались в трагедию вселенского масштаба. Учёба вообще давалась мне подозрительно легко — настолько легко, что я иногда ловил себя на мысли, что не доверяю этой лёгкости так же, как не доверял бы лёгкому сопернику на ринге: если что-то даётся без борьбы, значит, где-то есть подвох, который пока не проявился. Первый курс запомнился в основном не парами — тем, что я легко получал внимание: рост, форма, характер, который девушкам почему-то читался как загадка, хотя загадки там не было, была просто закрытая дверь. Я этим пользовался без особых угрызений: ничего не обещал, ничего не скрывал, но и не церемонился, когда интерес угасал с моей стороны.

Вика ворвалась в мою жизнь на втором курсе настолько внезапно, что я до сих пор не могу с уверенностью назвать момент, когда это произошло, — просто в один день её ещё не было. Через неделю она уже прочно занимала непропорционально много места в моей голове — как незванный жилец, въехавший без предупреждения и тут же расставивший свои вещи по всем полкам, до которых дотянулся. Она училась на дизайн-факультете, невысокая, с острыми ключицами и татуировкой мелкой ласточки на запястье, которую сама же в порыве набила себе в подпольной студии на первом курсе, красила волосы в разные, часто совершенно неподходящие друг другу цвета раз в месяц — то в почти белый, то в глубокий, чернильно-синий, — и одевалась каждый день как на разные вечеринки сразу: рваные колготки под строгой юбкой, растянутый мужской свитер поверх кружевного топа. Она могла позвонить в три часа ночи с предложением немедленно ехать смотреть рассвет на крышу дальнего от общаги дома, потому что ей «приснилось, что это важно», и с одинаковой лёгкостью смеялась и срывалась в слёзы посреди разговора — без видимой причины, просто потому что эмоция накрывала её целиком и требовала немедленного выхода. Меня, привыкшего к контролю над собой как к базовой настройке организма, это зацепило почти физически — как зацепляет вид чего-то, что делает ровно то, чего никогда не позволил бы себе ты сам. Мы встречались бурно, хаотично, без чёткой структуры отношений: то не расставались неделями, то не разговаривали по три дня из-за ссоры, повод которой ни один из нас потом не мог внятно восстановить.

Ближе к зиме я как-то предложил — спокойно, без злого умысла, просто честно — что нам, наверное, стоит на время отдохнуть друг от друга, слишком много качелей для одного семестра. Она замолчала на другом конце провода настолько надолго, что я успел подумать, что связь оборвалась, а потом произнесла ровным, неестественно спокойным голосом, что если я это сделаю, ей незачем будет утром вставать вообще, и что она уже думала, как именно это устроить. Я примчался к ней через весь город среди ночи, не раздеваясь просидел у неё на кухне до рассвета, уговаривал, обещал, что никуда не денусь, — и остался. Мы не расстались в тот раз — это случилось только месяцы спустя, — но та ночь заставила меня взглянуть на её хаос иначе: я так и не узнал наверняка, было ли это настоящим отчаянием или точным, безошибочным чутьём на то, какая фраза меня удержит, — и это незнание с тех пор всегда сидело где-то на дне моего доверия к ней, не давая ему стать полным.

Первые месяцы это ощущалось как непрерывное приключение — с ней невозможно было заскучать, потому что она сама была ходячим источником непредсказуемости. Но примерно к весне я начал замечать закономерность, которая медленно убивала весь эффект: хаос Вики оказался не таким уж хаотичным — просто ограниченным набором сценариев, кото-

рые повторялись по кругу с пугающей регулярностью, стоило понаблюдать достаточно внимательно. Слезы посреди ночи, внезапные исчезновения на день-два, драматичные примирения — всё это начало читаться мной наперёд, как приём в спарринге, который соперник использует слишком часто. Я, кажется, в тот момент впервые чётко осознал одну неприятную особенность собственного устройства: как только человек переставал быть загадкой, переставал быть непредсказуемой переменной, интерес во мне гас почти механически, без всякого моего желания это контролировать. Мы разошлись без единого громкого скандала — просто однажды перестали писать друг другу первыми, и оба молчаливо согласились считать это концом.

Жили мы с Ромой в стандартной общажной комнате на двоих — восемнадцать квадратов, две кровати вдоль стен, обшарпанный шкаф на двоих и подоконник, заставленный с моей стороны спортивным питанием и стопкой книг, а с его — учебниками по программированию, которые он честно пытался читать, но чаще просто использовал как подставку под чай. На стене у меня висел самодельный график тренировок, у него — постер какой-то инди-игры. Пахло в комнате смесью дешёвого дезодоранта, лапши быстрого приготовления и, по вечерам после моих тренировок, тяжёлым запахом кожи и пота от перчаток и бинтов, которые я сушил на батарее, — Рома демонстративно морщился и называл это «спортивным супом». Я предлагал ему открыть форточку. Он предпочитал на час переселяться к соседям по этажу.

Сам Рома был моей полной физической противоположностью — сутулый, худой той нескладной, ещё не устаканившейся худобой, что свойственна ботаникам, вечно шурился без очков, которые ленился носить, хотя они были ему нужны, и двигался по комнате с какой-то забавной неуклюжестью. При этом он был единственным человеком на курсе, чьё мнение мне было действительно интересно услышать: соглашался он со мной хорошо если через раз, и в этом была вся ценность.

Разговоры с ним на эту тему были короткими и циничными.

— Ты когда-нибудь думал, что с тобой не так? — спросил он как-то, когда я в очередной раз спокойно объяснял очередной девушке, что не готов ни на что серьёзное.

— Со мной всё так, — ответил я. — Я не обещал. Она сама знала, на что шла.

— Ты правда в это веришь, — Рома прищурился, по обыкновению без очков, — или просто удобно так думать?

Я тогда не нашёлся, что ответить сразу — мне было откровенно лень разбираться, прав он или нет. В свои двадцать я искренне не видел в этом проблемы. Проблема появилась позже, и звали её иначе.

К единоборствам меня тянуло задолго до института. В школе я несколько лет отбегал лёгкую атлетику — брал первые места в городе на короткой дистанции, и эти годы бега заложили ту поджарую, жилистую основу, которую я потом донашивал всю жизнь, задолго до штанги и гриши. Пробовал и карате — классическое, спортивное, с чётким сводом правил, где за удар в голову рукой дисквалифицировали на месте, — и довольно быстро понял, что вся эта аккуратная, регламентированная система имеет крайне мало отношения к тому, что происходит, когда на тебя действительно нападают на улице, где никто не судит по очкам и не останавливает бой при первой крови, — что на улице годится разве что для красивой эпитафии. Это разочарование, как ни странно, тоже сыграло свою роль в том, что произошло дальше.

В бокс я пришёл на втором курсе — не за компанию и не ради фигуры: случайно оказался на любительском турнире, куда затащил тот же Рома, и увидел человека, который был выше меня на голову и очевидно сильнее физически, но проиграл технически подкованному сопернику раза в полтора легче себя за одну минуту. Что-то в этом зацепило — доказательство того, что сила не равна массе, что за ней стоит система, которую можно выучить, в отличие от карате, дававшего лишь иллюзию системы.

Зал, куда я в итоге пришёл, располагался в подвале старой заводской постройки — низкие своды, вечная сырость на бетонных стенах, запах старой кожи от груш вперемешку с потом

и вазелином, которым перед спаррингом смазывали лицо, чтобы перчатка меньше рвала кожу. Тренер, Иван Палыч, лысый, вечно недовольный мужик за пятьдесят с сеткой шрамов над левой бровью и голосом, стёртым десятилетиями крика через ринг, окинул меня одним долгим, неприязненным взглядом — так смотрят на очередного новичка, который продержится максимум месяц, — и на первом же занятии сказал мне то, что я потом повторял себе годами: «Тело врать не будет. Хочешь врать себе — иди в другое место, там таких любят». Compliments от него я не дождался ни разу за все годы — подозреваю, у него их просто не было в словарном запасе. Я не ушёл.

Первые полгода из меня выбивали дурь в буквальном смысле слова — Палыч поставил меня в пару со своим первым учеником, Тимуром, крепким, коренастым парнем на пять лет старше, с приплюснутым от старых травм носом и совершенно равнодушным взглядом человека, для которого разбить очередному новичку губу было делом настолько привычным, что не вызывало ни малейшего сочувствия. Первые недели я приходил домой с синяками на рёбрах и звоном в ушах, засыпал раньше, чем успевал додумать мысль, и каждый раз, натягивая перчатки на следующей тренировке, ловил себя на злости на собственное тело, которое явно ещё не умело того, что я от него требовал, — Тимур тут был почти ни при чём. Именно тогда я понял то, о чём не подозревал заранее: в большинстве залов, о которых потом читал и слышал, тренировки на девяносто процентов состоят из отработки техники — постановки ног, углов, работы у зеркала, — а полноценные спарринги случаются раз в неделю, если повезёт, потому что тренеры берегут учеников от травм и лишних синяков. У Палыча было иначе — спарринги стояли в расписании через день, жёсткие, почти всегда до звона в голове, и этой редкой, почти безрассудной честностью мне и повезло: тело действительно училось по-настоящему драться, а зеркало могло подождать.

Я вцепился в это со всей одержимостью, на какую был способен. Ходил без единого пропуска — ни по болезни, ни по настроению, ни по банальной лени, — и через полгода Тимур перестал разбивать меня в одну калитку. Ещё через несколько месяцев наши с ним спарринги стали равными настолько, что Палыч начал ставить нас в пример остальным новичкам. К концу второго курса я был лучшим в зале среди любителей моего уровня, и это признавали все. Самым талантливым я не был — я отдавал тренировкам буквально всё: выходил с татами настолько мокрым, что после душа выжимал воду из носков в раздевалке, как выжимают половую тряпку, и Палыч, глядя на это, только качал головой и бурчал что-то вроде «нормальный, будет толк».

* * *

С Надей — так звали ту самую девушку, из-за которой всё в моей голове насчёт отношений однажды перестроилось, — я познакомился не эффектно, без всякой драмы, которую любят описывать в подобных историях. Она ходила на секцию ММА в том же зале, на два часа раньше моей тренировки, и первые несколько недель я вообще не обращал на неё особого внимания — просто ещё одна девушка среди тренирующихся, каких там хватало. Заметил я её не за яркий момент — за накопившийся: раз за разом, неделя за неделей, я видел, как она работает с новичками, которых сама тренер ставила к ней в пару, — терпеливо, без раздражения, без единого намёка на превосходство, хотя разница в уровне была очевидной. Остальные в её положении обычно либо откровенно скучали в таких парах, либо демонстративно доминировали, чтобы напомнить всем, кто здесь кто. Она — нет. Была она невысокой, крепко сбитой, с коротко стриженными тёмными волосами и небольшим шрамом над правой бровью — след неудачного спарринга, как я потом узнал, — и двигалась по залу с той экономной, лишённой всякой театральности собранностью, которая сразу выдаёт человека, для которого тело — рабочий инструмент, а зеркало заботит в последнюю очередь.

Заговорили мы однажды случайно, после её тренировки и перед моей.

— У тебя восстановление между подходами какое — по времени или по пульсу считаешь? — спросил я, скорее из любопытства, чем из настоящей необходимости, кивнув на её конспект в блокноте у сумки.

Она подняла на меня взгляд — прямой, оценивающий, без тени кокетства.

— По пульсу. Время врёт, оно у всех разное в разный день. А пульс не соврёт — если он не упал до нужного порога, значит, ты ещё не восстановился, сколько бы минут ни прошло по часам.

Что-то в этой фразе — «пульс не соврёт» — прозвучало настолько знакомо, что я на секунду замолчал.

— У меня похожая философия, только про тело в целом, — сказал я. — Оно единственное, что не обманывает.

— Значит, ты уже понял главное, — ответила она без улыбки, но и без холода, просто как утверждение факта. — Большинство тратит годы, чтобы это понять, а некоторые вообще не доходят.

Разговор неожиданно для меня затянулся на сорок минут прямо у дверей зала. Говорили вовсе не о фитнесе: о том, почему люди вообще выбирают путь наименьшего сопротивления и почему дисциплина стольким кажется наказанием, хотя на деле она чистая свобода, — пока администратор не начал демонстративно звенеть ключами, показывая, что пора закрывать. Я уходил в тот вечер с редким для себя ощущением, что встретил не просто симпатичного человека — кого-то, чья внутренняя система координат была настроена почти так же, как моя собственная, — и это пугало и притягивало одновременно. Много позже я понял это иначе: похоже, я годами уже искал такого человека, а Надя просто оказалась рядом в нужный момент, чтобы поиски наконец прекратились. Я упал к её ногам, толком не разобравшись, любовь это или банальное облегчение от того, что искать больше не нужно.

Мы встречались почти два года. Она не была «крутой пацанкой» — ни татуировок напоказ, ни манеры доказывать что-то каждому встречному. В ней была тихая уверенность человека, который давно проверил себя на татами и с тех пор в словах попросту не нуждался. Именно она, кстати, настояла в своё время, чтобы я перестал относиться к доставке питания как к баловству на сменах, а сел и посчитал цифры нормально — открыл таблицу, расписал закупки, маржу, обороты.

— Ты либо делаешь это, либо нет, — сказала она тогда, без предисловий, разложив передо мной на кухонном столе распечатанные листы с моими же собственными цифрами. — А то, что ты сейчас делаешь, это не бизнес, это дорогое хобби с доставкой.

Она была права, и от того, что она это сказала так прямо, без попытки смягчить, мне это понравилось только больше — это было ровно то же ощущение, что и от разговора с собственным телом: без экивоков, без утешительной лжи, просто голый факт, который либо принимаешь, либо нет.

У нас была своя маленькая привычка — глупая, но наша: после каждой особенно тяжёлой тренировки мы заходили в один и тот же круглосуточный магазин за одинаковым протеиновым батончиком, который оба считали отвратительным на вкус, и всё равно покупали снова и снова, потому что это давно превратилось в ритуал — выбор здесь был уже ни при чём. Она называла это «нашей традицией плохих решений». Я в шутку отвечал, что это единственная плохая привычка, которую она мне позволила.

После одного такого вечера, у того же круглосуточного магазина, она впервые увидела ту сторону меня, о существовании которой предпочитала не думать. Мы возвращались с зала поздно, и у входа в магазин крепко пьяный мужчина лет сорока навязчиво приставал к кассирше — молодой девушке, явно растерянной и напуганной, — не отпускал её от кассы, что-то невнятно требуя, хватал за рукав форменного жилета. Я подошёл — спокойно, без единого повышения тона — и попросил его отпустить руку. Признаюсь честно, хотя бы самому себе:

я прекрасно понимал, что этот пьяный, нетвёрдо стоящий на ногах мужик представляет для меня ровно ноль опасности, это было даже не подобие спарринга, — и часть меня подошла к нему не столько из настоящего сочувствия к кассирше, сколько из желания, чтобы Надя увидела во мне человека, которому не всё равно. Мне, если совсем честно, было почти всё равно.

Он отпустил, развернулся ко мне, начал что-то агрессивно бормотать, тыкая пальцем в грудь, а потом шагнул ко мне вплотную — явно собираясь толкнуть. Я ударил его один раз — точно под рёбра, в солнечное сплетение, коротко и без замаха, — и он сложился пополам, осел на плитку у входа, хватая ртом воздух, который никак не хотел заходить в лёгкие. Я присел рядом на корточки, чтобы он видел моё лицо, и продолжил — уже словом, тем, что умел едва ли не лучше кулаков. Я вгляделся в него внимательно, считывая целиком: помятую куртку, дешёвые ботинки, обручальное кольцо, стёршееся почти до блеска металла под ним, — и произнёс несколько фраз тихим, ровным голосом, методично перечисляя факты, которые он сам меньше всего хотел бы услышать вслух перед посторонними: что жена наверняка ждёт его дома, что дети, если они есть, наверняка уже привыкли не ждать отца трезвым, что вот такие вечера, вероятно, и есть причина, по которой всё в его жизни выглядит так, как выглядит, — и что даже сейчас, задыхаясь на грязной плитке у ног чужого парня вдвое моложе себя, он всё равно ничтожество, которым, кажется, был всегда. Я говорил это без злобы в голосе, почти буднично, — но каждое слово было нацелено точно, как удар в открытую точку, и мужчина, ещё секунду назад агрессивный, обмяк окончательно, побледнел и, кое-как поднявшись, молча побрёл прочь, пошатываясь, не оглядываясь.

Надя стояла рядом всё это время и не произнесла ни слова, пока мы не отошли на квартал от магазина.

— Зачем ты это сделал? — спросила она наконец. — Ты мог просто оттащить его или сказать пару слов, чтобы он ушёл. Зачем было вот так... препарировать человека?

— Он это заслужил, — ответил я. — Я не соврал ни слова.

— Дело не в том, соврал ты или нет, Ники. — Она смотрела на меня внимательно, дольше, чем требовал обычный разговор, — пыталась разглядеть что-то за привычными чертами моего лица. — Дело в том, с каким удовольствием ты это делал. Я видела твои глаза. Тебе не было противно. Тебе было хорошо.

Я не нашёлся, что ответить, потому что она была права, и мы оба это знали. С того вечера что-то между нами едва заметно сместилось — она не отдалилась резко, продолжала быть рядом, помогать мне с делами, слушать про поставщиков и клиентов, оставалась опорой в самом практическом смысле слова, — но в её взгляде временами появлялась короткая тень настороженности: не покажется ли снова та тьма, которую она однажды увидела так отчётливо.

Она первая, при ком мой цинизм насчёт людей и женщин перестал казаться мне самому чем-то, чем стоит гордиться. Мораль она мне не читала — этим вообще не увлекалась. Дело было в другом: рядом с ней моя привычная логика «не обещал, значит не виноват» начала звучать глупо даже в моей собственной голове, без её участия. Она умела вытаскивать меня из самых практических тупиков — однажды, когда крупный поставщик попытался задним числом пересмотреть условия контракта, пользуясь тем, что я был новичком в переговорах, она спокойно и методично разложила мне по пунктам, где меня разводят и как вежливо, но твёрдо это остановить, — и я сделал ровно так, как она сказала, и это сработало. Она была рядом на всех значимых точках того года: когда я в панике не спал ночь перед первой крупной оптовой закупкой, боясь просчитаться с объёмами; когда я, наоборот, слишком уверенно рискнул и почти прогорел на неудачной партии товара, испортившейся при доставке; когда мне нужно было просто выговориться после особенно тяжёлого дня и не получить в ответ ни одного совета — только молчаливое присутствие, которое иногда стоит дороже любого совета. Но каждый раз, когда во мне снова проступала та самая ледяная безжалостность — по отношению к нерадивому курьеру, к обманувшему меня контрагенту, к случайному хаму на парковке, — она

смотрела на меня чуть дольше обычного, заново взвешивая, сколько во мне света и сколько тьмы, и явно не была до конца уверена в результате подсчёта.

Была и вещь похуже случайных вспышек — то, о чём я долго не рассказывал даже себе честно. Примерно на середине наших отношений с Надей я допустил единственную настоящую измену. Не по пьяной случайности на чьём-то дне рождения — вполне сознательно, с расчётливым умыслом, за который потом сам себя же и судил. Алину я знал через общих ребят по залу — невысокую, гибкую, с длинными тёмными волосами, которые она вечно перекидывала через плечо характерным нервным движением, и с той манерой смотреть чуть снизу вверх, которая выдаёт человека, привыкшего добывать внимание, — в отличие от тех, кому оно достаётся просто так. Она уже с полгода откровенно на меня засматривалась, ловила поводы оказаться рядом, смеялась чуть громче, чем требовала шутка. Никаких чувств к ней я не испытывал — вообще никаких, ни капли. Мне хотелось проверить в себе одну вещь, о которой я не решался даже подумать рядом с Надей. Дело было не в жёстком, требовательном сексе — тут Надя не уступила бы никому, без всякого стеснения. Дело было в другом, гораздо более тёмном: в способности за одну ночь методично, словом и взглядом, вынуть из человека всё его достоинство и оставить его голым — только не телесно. Голым перед самим собой. С Надей это было немыслимо в принципе. Слабее она не была — ровно наоборот: она раскусила бы меня на второй фразе и развернулась бы уходить. Алина — легла.

В ту ночь я взял её спокойно, без прелюдий. Она знала, что секс будет жёстким, но не думала насколько. Поначалу ей было больно, она попыталась остановить всё это, но, поняв, что силы не равны, в силу своего характера в итоге подчинилась. Я вошёл в неё, зная, что она в этой сцене — просто лёд, и весь разговор строил на одном: что она — вещь, никчемное создание, которое всего лишь добивалось моего внимания, и не более того. Что ж, получай. Руки у меня были запутаны в её волосах, лицо её я использовал как мочалку. В тот вечер слова «сучка» и «шлюха» я произнёс больше, чем за всю свою жизнь. После завершения она со слезами ушла и с тех пор избегала меня. Я не почувствовал ничего, что можно было бы назвать удовлетворением, — только холодное, почти лабораторное подтверждение того, что эта способность во мне действительно есть, и я умею ею пользоваться, когда захочу.

Надя узнала не по чужим слухам и не случайно — я рассказал ей сам — недели через две, поздним вечером, глядя куда-то мимо неё, в темноту за окном её квартиры, без всякого подготовительного разговора — просто продолжая мысль, которую вёл про себя уже давно.

— Зачем ты мне это говоришь? — спросила она тихо, помолчав.

— Потому что молчать было бы удобнее, — ответил я, — а мне надоело выбирать удобное, когда дело касается тебя.

Она не ушла в ту же секунду, не устроила сцену, которую, наверное, устроила бы на её месте почти любая другая. Помолчав ещё немного, она сказала, что не считает это изменой в том смысле, в каком это обычно понимают, — потому что видела по мне же самому: та девушка была для меня просто оболочкой, на которой я поставил какой-то свой внутренний эксперимент, — никаких чувств я к ней не испытывал, и это было по мне видно. И добавила, уже жёстче, глядя мне прямо в глаза:

— Но я не хочу знать подробностей. Никогда больше. Мне достаточно того, что ты уже сказал, — дальше просто неприятно это слышать, и я не обязана это в себе носить только потому, что тебе так спокойнее.

Она не бросила меня в тот вечер. Но что-то в её взгляде с той ночи изменилось безвозвратно — прежде она смотрела на мою тьму как на что-то, с чем можно бороться вдвоём; после — как на нечто, что победить, возможно, вообще нельзя, и остаётся только терпеть, пока хватает сил.

За тем случаем последовали и другие, помельче, но такие же по сути. Однажды я уволил курьера, проработавшего на меня полгода, за одну-единственную просроченную партию

— уволил показательно, при остальных, — необходимости в этом, по совести говоря, не было никакой; зато это разошлось по всей маленькой курьерской тусовке города и отбило у остальных всякое желание расслабляться. В другой раз, на переговорах с конкурентом, попытавшимся переманить моего крупного клиента, я узнал через общих знакомых о его личных проблемах — разводе, долгах — и хладнокровно использовал это как рычаг в разговоре, не испытывая ни малейшего неудобства. Надя не присутствовала при этом лично, но слышала о обоих случаях от меня же — я сам, как ни странно, всегда рассказывал ей правду: похоже, мне попросту был нужен свидетель, который будет вести счёт.

Я так и не узнал наверняка, что происходило у неё внутри в те последние месяцы, — она никогда не устраивала сцен и не выкладывала мне список претензий по пунктам, — но позже, вспоминая обрывки её слов, её долгие молчания за ужином, то, как она иногда садилась на подоконник с чаем и просто смотрела в темноту за окном, я мог примерно восстановить, через что она проходила: взвешивание, снова и снова, одного и того же уравнения — та ли это тьма, с которой можно прожить жизнь, потому что она уравновешена достаточным количеством света, или это тьма, которая рано или поздно займёт собой всё пространство, если её вовремя не остановить. Она любила меня — в этом я не сомневался ни тогда, ни теперь, — и поэтому решение давалось ей настолько тяжело: уйти от человека, которого любишь, потому что боишься даже не его самого — того, во что он может превратиться, если рядом с ним слишком долго молчать.

* * *

Бизнес рос медленно, а потом — довольно резко, тем скачком, который в книгах по стартам называют красивым словом «инфлексия», а на деле выглядит как полгода беспросветного, никем не замечаемого труда, за которым вдруг следует пара удачных месяцев подряд. Звучит вдохновляюще в презентациях. Ощущается как позвоночная грыжа. Начиналось всё с одного холодильника, взятого в аренду у знакомого, и таблицы в блокноте, куда я вручную вписывал заказы. К тому времени, когда я умер, у меня было три полноценных склада-холодильника в разных районах города, семь курьеров на подработке и оборот, который ещё год назад казался бы мне фантастикой.

Я применял к бизнесу ровно ту же дисциплину, что применял к телу, — без исключений, без выходных по настроению. Кофе по утрам в моём расписании не значился вовсе: утро начиналось с проверки остатков на складах, днём — переговоры с поставщиками, ночью — обработка новых заявок и разбор рекламаций, а всё это укладывалось между сменами в охране и тренировками, которые я не отменял ни при каких обстоятельствах, потому что знал: сорвёшься с графика в зале — сорвёшься и в делах, дисциплина не делится на отсеки, она либо есть целиком, либо её нет нигде. Спать в таком режиме, впрочем, тоже полагалось — просто где-то по остаточному принципу, между заявками и раундами.

Одна из первых по-настоящему крупных встреч, определивших дальнейший рост, случилась с владельцем небольшой сети фитнес-клубов — грузным мужчиной под пятьдесят с тяжёлым взглядом человека, привыкшего, что к нему приходят просить: предложить ему что-то отваживались немногие. Мы встретились в его кабинете, заставленном трофеями с давно забытых любительских турниров по пауэрлифтингу — каждый, судя по слою пыли, не проигрался с тех пор, как его выиграли, — сам кабинет пах кожей нового дивана и чем-то сладковатым, вроде кальянного табака, въевшимся в стены за годы. Он смотрел на меня секунд десять молча, оценивающе, прежде чем заговорить.

— Сколько тебе лет, парень?

— Достаточно, чтобы не тратить ваше время на пустые разговоры, — ответил я. — У меня цены ниже, чем у ваших нынешних поставщиков, на восемь процентов, доставка день в день — не через два, — и я лично приеду разбираться, если хоть раз что-то пойдёт не так. Не потому что обязан по договору, а потому что мне невыгодно, чтобы вы искали кого-то ещё.

Он усмехнулся — коротко, почти одобрительно, — и подписал контракт в тот же день. С этого клиента, если честно, начался настоящий рост: следом за ним потянулись ещё два клуба из его же сети, потом — знакомые ему владельцы других залов, и я довольно быстро понял, что репутация в этом узком мире распространяется почти так же, как результаты на ринге, — молва идёт впереди тебя быстрее, чем ты успеваешь физически объехать всех клиентов сам. Спортивное питание было только началом — довольно быстро в номенклатуру добавились обычные продукты для небольших кафе и офисных кухонь, которым было проще заказывать у одного надёжного поставщика с ежедневной доставкой, чем распыляться на десяток разных, и к концу разгона доставка возила уже не только протеин и креатин — вообще всё, что можно было привезти свежим и день в день.

Надя видела эту деловую, расчётливую сторону меня едва ли не чаще, чем ту тёплую, что показывала я ей самой, — видела, как я методично, без лишних эмоций дожимал невыгодные условия, как умел одной точной, спокойной фразой поставить на место наглого закупщика, пытавшегося занижить цену задним числом, как не спал сутками, разбирая логистику, но ни на ней, ни на курьерах не срывался — просто механически продолжал работать, пока проблема не решится. Иногда она сидела рядом со мной за ноутбуком до трёх ночи, помогая свести таблицу расходов, и в такие моменты между нами возникала та особая близость, что рождается больше из общего, разделённого на двоих труда, чем из романтики. Но чем больше рос бизнес, тем меньше в моём графике оставалось места для чего угодно, кроме зала и работы, — и тем чаще в глазах Нади читалось уже не восхищение моей упёртостью — усталое, тщательно скрываемое разочарование.

Разошлись мы не из-за скандала — хуже. Осенью, когда доставка уже прочно стояла на ногах, она попросила меня в выходной день просто посидеть с ней на кухне, без телефона, без ноутбука, — и я, помню, ещё тогда, идя на эту кухню, интуитивно понял по её лицу, что разговор будет не о графике.

— Дело не в том, что ты много работаешь, Ники, — сказала она, глядя куда-то в чашку с остывающим чаем, только не на меня. — Я бы и с этим справилась, честно. Дело в другом.

— В чём тогда? — спросил я, хотя уже знал ответ.

— В магазине. В той девушке, о которой ты мне сам рассказал. В курьере, которого ты уволил у всех на глазах, чтобы другим неповадно было. — Она наконец подняла взгляд, и в нём не было злости, только усталость, накопленная не за один день. — Я люблю тебя, дурак. По-настоящему. Именно поэтому мне страшно. Я смотрю на тебя и не знаю, сколько в тебе того человека, что сидел со мной три ночи над таблицами, а сколько — того, что я видела у входа в магазин с этим бедолагой на асфальте. И это соотношение, кажется, меняется не в мою пользу.

— Я не изменюсь по щелчку, — сказал я тогда, честно, потому что врать ей не имело смысла. — Но я стараюсь.

— Я знаю, что стараешься. — Она грустно улыбнулась, коротко, одними уголками губ. — Проблема в том, что я не уверена, возможно ли вообще то, к чему ты стараешься прийти. А жить рядом с человеком и постоянно бояться, каким он придёт домой сегодня, — я так больше не могу. Не хочу становиться человеком, который затаивает дыхание каждый раз, когда ты открываешь дверь.

Я не спорил, потому что спорить было не с чем — она видела меня насквозь точнее, чем я сам себя видел, и я это знал ещё до того, как она договорила. Мы расстались тихо, без крика, без хлопнувшей двери, что почему-то оказалось тяжелее, чем если бы был скандал: со скандалом хотя бы есть на кого злиться. После неё я не стал добрее ко всем подряд — если что, стал ещё более закрытым, вложился в дело и в зал. Но я стал иначе взвешивать, чего стоит человек, который решил остаться рядом с тобой просто так, ничего с этого не поимев, — и от этого мой и без того невысокий счёт к людям в целом стал ещё жёстче: если такие, как она, встречаются так редко, зачем тратить время на всех остальных.

В тот вечер, когда всё закончилось, я поехал напрямик в зал, хотя расписания у меня не было, и попросил Палыча поставить меня хоть с кем-нибудь. Он поставил меня с Тимуром — тем же самым, что когда-то давно разбивал меня в одну калитку, — и в тот вечер я вкладывался в удары так, будто хотел через собственные кулаки вытрясти из себя что-то, что сидело гораздо глубже соперника. Тимур в какой-то момент, поймав жёсткий встречный, которого не ожидал, сплюнул кровь и попросил перерыв. Палыч, до этого молча наблюдавший с угла ринга, шагнул вперёд и остановил всё сам, схватив меня за плечо тяжёлой рукой.

— Хватит, — сказал он коротко, глядя мне прямо в глаза. — Сейчас ты не дерёшься — ты мстишь неизвестно кому. Иди домой, остынь и не возвращайся, пока снова не сможешь просто драться.

Я не пошёл домой. Я сел в машину и поехал за город, к реке, куда мы иногда ездили с Надей летом, — доехал уже затемно, оставил куртку на камнях и вошёл в воду в одежде, не раздумывая, потому что раздумывать в тот момент значило бы дать себе шанс передумать. Вода была холодной, обжигающей, и я плыл — сильно, ровно, тем же кролем, которым плавал с детства, — всё дальше от берега, пока огни города на другом берегу не превратились в размытые пятна и руки не начали неметь от усталости и холода. В какой-то момент, посреди чёрной воды, под таким же чёрным небом, я перестал грести и повис на месте, чувствуя, как течение медленно тянет вниз, и подумал — спокойно, без паники, почти отстранённо, — что было бы легко взять и перестать двигаться. Что вода примет это как факт, без драмы, так же честно, как всегда принимало правду моё собственное тело. Надя была для меня настолько важна, что на секунду это действительно показалось не трагедией — просто логическим завершением уравнения.

Я не дал себе на это права. Испугался я меньше всего — на дне этой мысли было ясное, отрезвляющее понимание: сдать сейчас значило бы предать даже не Надю и не себя самого — то единственное, во что я верил всю жизнь: что тело нужно доводить до конца, никогда не бросать на середине, каким бы тяжёлым ни был этот конец. Я перевернулся на спину, раскинул руки, позволил воде держать меня, и медленно, экономными гребками, вернулся к берегу — плавать, как и почти всё, за что я брался, я умел хорошо, и тело, вымотанное, но послушное, донесло меня обратно без единого сбоя.

Я лёг на траву, мокрый насквозь, чувствуя, как холод постепенно вытесняется теплом от пережитой нагрузки, и долго смотрел в небо, усыпанное звёздами настолько щедро, что вдалеке от городских огней оно казалось почти ненастоящим, нарисованным. Я думал не о Наде — вернее, не только о ней. Я думал о том, что всю жизнь гордился умением быть честным с собственным телом, но, кажется, ни разу толком не попробовал быть таким же честным с тем, что происходит у меня внутри головы, — с той тьмой, которую Надя видела так ясно, а я предпочитал не называть по имени, списывая на характер, на дисциплину, на что угодно, кроме того, чем оно являлось на самом деле. Я подумал, что, возможно, всю жизнь тренировал не то тело: мышцы легко поддаются, если работать с ними достаточно долго и честно, а вот то, что сидит глубже мышц, я, кажется, вообще никогда не пытался тренировать — только скрывать, обтёсывать по краям, выдавать за силу характера. Ответа я тогда не нашёл. Я просто лежал, пока звёзды не начали чуть заметно бледнеть перед рассветом. Тогда я встал, замёрзший и опустошённый, и поехал домой — не исцелённым, но, по крайней мере, живым, и это, на тот момент, было максимумом честности, на который я был способен.

К тому вечеру, когда всё закончилось на самом деле, я почти год жил один — плотный график, растущая доставка, зал, изредка Стас со своими чипсами как единственная постоянная компания. Я не был несчастен этим. Я был по-своему доволен — впервые за долгое время всё двигалось в моём собственном темпе, без чужого недовольства моим темпом, хотя иногда, засыпая, я всё ещё ловил себя на мысли о той ночи в реке и о том, что так и не решил для себя уравнение, которое там пытался решить.

IV

В тот вечер я как раз возвращался с работы позже обычного — сдал смену, задержался, разбирая заказы по доставке, и вышел из бизнес-центра, когда город уже почти полностью потемнел, оставив только неровные пятна фонарей и синеватый отсвет вывесок. Где-то вдалеке недовольно просигналила машина, и звук утонул в обычном вечернем шуме города, не задержавшись ни на секунду. Настроение было хорошим, почти непривычно хорошим: заказов за неделю пришло больше, чем за весь прошлый месяц, и я шёл домой с редким для себя ощущением, что дальше будет только лучше, — независимость, ради которой годами терпел всё остальное, наконец перестала быть абстракцией. Хотя, оглядываясь назад, стоило бы насторожиться: жизнь особенно щедра на хорошее настроение перед тем, как сделать какую-нибудь гадость.

Я шёл через дворы, потому что так короче, мимо гаражей, чьи железные двери в темноте отливали ржавым, а дыхание уже подмерзало в воздухе, — и в паре домов от своего услышал голоса, резкие, слишком резкие для обычного разговора.

Их было четверо. Девушку — незнакомую, лет двадцати, в лёгкой куртке, которая явно не спасала от вечернего холода, — прижали к стене гаражей, и один уже держал её за руку так, что понятно было без слов: это не флирт, который просто зашёл не туда.

Всё во мне сказалось — иди дальше. Не твоё дело. Тело того не стоит. Ты годами придерживался этого правила не по лени — оно просто было рабочим. Работало это правило безотказно — ровно до сегодняшнего вечера, у которого, очевидно, были другие планы.

Я не обманывал себя мыслью, что должен вмешаться, что кто-то, если не я, — ничего такого благородного в голове не было. Была мысль куда проще и глупее: пронесёт. Как пронесило почти всегда, все эти годы, стоило только показаться рядом человеку моей комплекции. Я прекрасно понимал, что расклад может пойти иначе, — просто в этот раз что-то тянуло меня вперёд сильнее, чем обычно тянуло назад, и я решил, что один раз, всего один, можно отступить от собственного правила, раз оно столько лет служило исправно.

Потом, много позже — если это «позже» вообще что-то будет значить, — я решил, что это было отцовское: то, что я в себе никогда не признавал и не тренировал — и что взяло и сработало само, без разрешения.

— Отпусти её, — сказал я. Спокойно, без угрозы в голосе — просто утверждение факта, как говорят о том, что дверь открывается не в ту сторону.

Они обернулись — четверо, и по глазам сразу читалось: пьяные, злые, не готовые сдавать назад перед одним человеком, будь он хоть какой высокий. Тот, что держал девушку, отпустил её руку, но не для того, чтобы разойтись миром.

— Иди своей дорогой, — сказал он.

Я мог. У меня было ровно столько времени, сколько нужно, чтобы развернуться и уйти, и никто бы меня не остановил. Вместо этого я сказал ей — тихо, глядя только на неё, не на них:

— Иди. Сейчас.

Она не сдвинулась с места — слишком испугана, чтобы соображать. И это была последняя секунда, в которую всё ещё можно было закончить словами.

V

Один из них толкнул меня в грудь — не сильно, скорее чтобы посмотреть на реакцию. Я не думал. Тело среагировало раньше, чем голова успела бы что-то взвесить, — прямой в челюсть, точный, без замаха, вложенный так, как вкладываешь удар после десяти тысяч повторений одного и того же движения. Он рухнул мешком, без единого лишнего движения, так падает тело, у которого разом отключились все мышцы: не картинно, не как в кино — просто некрасиво, коленями вперёд, лицом в асфальт.

Второй бросился следом, и в этот момент что-то в голове действительно щёлкнуло. Не паника — абсолютная, почти пугающая ясность, которую я знал только по лучшим спаррингам: боевой транс, где время немного растягивается, а руки работают сами, без команд. Второй улёгся рядом с первым секунды через три, так же некрасиво, так же тяжело.

Третий не полез в ближний бой. Он отступил на шаг, сунул руку под куртку — и я успел увидеть пистолет за долю секунды до того, как понял, что происходящее вообще не про кулаки.

Выстрел прозвучал глуше, чем я представлял по фильмам. Просто тупой толчок в грудь, а звук пришёл отдельно, с крошечной задержкой, как гром после далёкой молнии. В воздухе резко запахло чем-то горячим и металлическим — не сразу понял, что это порох.

Ноги подкосились не сразу — сначала ушла опора в одном колене, потом в другом, и я осел вниз медленнее, чем должен был бы падать человек с дыркой в груди, — тело до последнего пыталось сохранить равновесие каким-то заученным, автоматическим рефлексом, которому было плевать, что происходит внутри. Я сел на асфальт, потом завалился на бок, и холод камня под щекой оказался единственным ощущением, которое пробилося сквозь всё остальное отчётливо и ясно. Где-то за гаражами лениво тявкнула собака — город продолжал жить своим обычным вечером, как ни в чём не бывало.

В эти несколько секунд у меня в голове пронеслась вовсе не вся жизнь, как обещают истории, — одна конкретная, очень трезвая мысль: я ведь прекрасно знал, зачем это сделал. Не обманывал себя, не убеждал, что это подвиг. Просто в какой-то момент решил, что один раз можно поверить, что пронесёт, — и не пронесло.

Ирония была настолько ровной, что даже не хотелось злиться. Отец, который бы, наверное, меня понял. Надя, которая сказала бы, что я опять всё делаю по-своему, даже умираю. Стас с его чипсами, который завтра выйдет на смену и будет спрашивать, куда я делся. Доставка, которая только-только начала приносить настоящие деньги — не просто цифры на бумаге. Годы зала, годы разобранного по граммам питания, годы холодного расчёта, который столько лет берёг меня для того, чтобы один раз, один-единственный, я его нарушил — и против этого разом встал кусок металла, летящий быстрее любой реакции, быстрее любой дисциплины, быстрее всего, чем я гордился.

Тело сказала правду в последний раз — и в этот раз от неё не было никакого толку. Оно просто честно сообщило, что заканчивается, без права на подготовку, без права на тренировку, без права всё исправить, как я исправлял всё остальное годами. Разговор, который я вёл с ним каждый день столько лет, оборвался на середине слова — посреди двора, между гаражами, в паре сотен метров от дома, куда я так и не дошёл.

* * *

Дальше была темнота — и никакой драмы, никакого кино: просто отсутствие всего, включая ощущение, что что-то отсутствует. Потом пришло что-то, что не было ни светом, ни раем, ни вообще чем-то описуемым словами. Пришла мысль. Первая, до всякого тела, до всякого «я»:

Это мозг. Это последняя вспышка перед тем, как всё выключится совсем — та самая городская легенда про «вся жизнь пронеслась перед глазами», просто растянутая на подольше, потому что мозгу больше нечем заняться перед тем, как погаснуть окончательно.

Мысль показалась разумной ровно до тех пор, пока не начала тянуться дольше, чем должна была бы длиться любая предсмертная вспышка.

Ладно. Тогда это сон.

Но сны не пахнут землёй. А это — пахло. Сырой, стылой, совершенно реальной землёй, которая с каждой секундой становилась всё настойчивее, забивая собой всё остальное, пока я не понял с абсолютной, злой ясностью, что ни то, ни другое объяснение не годится.

Да что за хрень тут вообще происходит.

И только после этой мысли — самой честной из всех — я наконец открыл глаза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.